Булгаков Михаил

Тайному другу

Дионисовы мастера. Алтарь Диониса. Сцена[1].

«Трагедия машет мантией мишурной»[2].

I.ОТКРЫТКА

Бесценный друг мой! Итак, Вы настаиваете на том, чтобы я сообщил Вам в год катастрофы[3], каким образом я сделался драматургом? Скажите только одно — зачем Вам это? И еще: дайте слово, что Вы не отдадите в печать эту тетрадь даже и после моей смерти.

II. ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ВРЕМЕНА

Видите ли: в Москве в доисторические времена (годы 1921—1925) проживал один замечательный человек. Был он усеян веснушками, как небо звездами (и лицо, и руки), и отличался большим умом.

Профессия у него была такая: он редактор был[4] чистой крови и Божьей милостью и ухитрился издавать (в годы 1922—1925!!) частный толстый журнал[5]! Чудовищнее всего то, что у него не было ни копейки денег. Но у него была железная неописуемая воля, и, сидя на окраине города Москвы в симпатичной и грязной квартирке, он издавал.

Как увидите дальше, издание это привело как его, так и ряд других лиц, коих неумолимая судьба столкнула с этим журналом, к удивительным последствиям.

Раз человек не имеет денег, а между тем болезненная фантазия его пожирает, он должен куда-то бежать. Мой редактор и побежал к одному.

И с ним говорил.

И вышло так, что тот взял на себя издательство. Откуда-то появилась бумага, и книжки, вначале тонкие, а потом и толстые, стали выходить.

И тотчас же издатель прогорел. Но ведь как! Начисто, форменно. От человека осталась только дымящаяся дыра.

Вы спросите, к чему я все это рассказываю? Еще бы мне не рассказывать! Вы спрашиваете, как я сделался драматургом, вот я и рассказываю.

Да. Так вот, прогорел.

Прогорел настолько, что, когда моя судьба закинула меня именно в тот дом и квартиру, где приютился прогоревший, я видел его единственное средство (по его мнению) к спасению.

Средство это заключалось в следующем. На большом листе бумаги были акварелью нарисованы вожди революции 1917 года, окруженные венком из колосьев, серпов и молотов. Серпы были нарисованы фиолетовой краской, молоты черной, а колосья желтой. Вожди были какие-то темные, печальные и необыкновенно непохожие.

Все это нарисовал собственноручно прогоревший страдалец, за коим в это время числилось начету казенного 18 тысяч (Вы сами понимаете, что основное его дело был, конечно, не этот частный журнал), долгу казне 40 тысяч и частным лицам 13 тысяч.

Зачем?!

Оказалось, изволите ли видеть, что какое-нибудь издательство купит это произведение искусства, отпечатает его в бесчисленном множестве экземпляров, все учреждения раскупят его и развешают по стенам у себя.

Впоследствии я нигде не видел его. Из чего заключаю, что не купили.

Впрочем, и сам автор рисунка недолго просидел в комнате на Пречистенке. После того как в этой комнате остался только один диван, страдалец бежал. Куда? Мне неизвестно. Может быть, сейчас, когда Вы читаете эти строки, он в Саратове или Ростове-на-Дону, а может быть, и вернее всего, в Берлине. Но где бы он ни был, нет никакой возможности мне получить одну тысячу с чем-то рублей.

Итак: книжка журнала была в типографии, страдалец в Буэнос-Айресе, редактор...

Вы интересуетесь вопросом о том, где же брал мой редактор деньги до встречи со страдальцем?

Теперь этот вопрос выяснен, и догадался я сам (я вижу мысленно, как Вы смеетесь! Если бы Вы были возле меня, наверное, Вы сказали бы, что вряд ли я догадался. Ах, неужто, друг мой, я уж действительно безнадежно глуп? Вы умнее меня, с этим согласен я...). Ну, догадался я: он продал душу дьяволу. Сын погибели и снабжал его деньгами. Но в обрез, так что хватало только на бумагу и вообще типографские расходы, авторам же он платил так, что теперь, при воспоминании об этом, я смеюсь над собой.

Когда же дьяволовы деньги кончились и страдалец уехал в Ташкент, он нашел нового издателя. Этот не был дьяволом, не был страдальцем. Это был жулик.

Скажу Вам, мой нежный друг, за свою страшную жизнь я видел прохвостов. Меня обирали. Но такого негодяя, как этот, я не встречал. Нет сомнений, что, если бы такой теперь встретился на моем пути, я сумел бы уйти благополучно, потому что стал опытен и печален — знаю людей, страшусь за них, но тогда... Мой Бог, поймите, дорогая, это не было лицо, это был паспорт. И потом скажите, кому, кому, кроме интеллигентской размазни, придет в голову заключить договор с человеком, фамилия которого Рвацкий[6]! Да не выдумал я! Рвацкий. Маленького роста, в вишневом галстухе, с фальшивой жемчужной булавкой, в полосатых брюках, ногти с черной каймой, а глаза...

Но редактор, ах, редактор.

Я прихожу к нему.

Он говорит:

— Ну, теперь, дружок, поезжайте в контору к Рвацкому и подписывайте с ним договор. Все наладилось! Ах, какая прелесть.

Я ответил:

— Послушайте, Рудольф Рафаилович. Я видел Рвацкого. Я его боюсь. Рудольф Рафаилович, у него фальшивая булавка в галстухе. Лучше я с вами заключу договор.

Он улыбнулся, он сильный человек, он Тореодор из Гренады.

Нарисовал кружок на бумаге и сказал:

— Ребенок! Вы неопытны в жизни, как всякий писатель. Видите кружок? Это вы.

На бумаге появился второй кружок:

— Это я — редактор.

— Тэк-с.

Третий кружок обозначал, оказывается, издателя Рвацкого.

— Теперь смотрите: я соединяю писателя и с редактором, и с издателем. Видите?

Получилась геометрическая фигура — равнобедренный треугольник.

— От издателя идет нить ко мне, и от него же идет нить к писателю. Мы с вами связаны только художественно: рукопись какую-нибудь прочитать, побеседовать о Гоголе... Денежных расчетов мы с вами никаких вести не будем и не можем вести. Я с вами могу говорить об Анатоле Франсе, а с Рвацким... нет, не могу, ибо он не понимает, что такое Анатоль Франс. Но с вами я не могу говорить о деньгах, и по двум причинам — во-первых, деньги не должны

интересовать писателя, а, во-вторых, вы в них ничего не понимаете. Голубь, договоры заключаются с издателями, а не с редакторами, и, кроме того, Рвацкий уезжает в 2 1/2 часа дня в Наркомпрос, а сейчас без четверти два, так что поспешите, а не сидите у меня вялый и испуганный...

Вертелось у меня на языке:

— А почему же первый наш договор я подписал с вами[7]?

Но, уже надевая свое потертое пальтишко в передней, я спросил все-таки глухо:

— Но вы видели его глаза? У него треугольные веки, а глаза стальные и смотрят в угол.

Ответил он:

— Следующего издателя я достану с такими глазами, как у вас, — хрустальными. Вы, однако, человек избалованный. Внимательно прочтите то, что будете подписывать, а также и векселя.

Не стану Вам, мой друг, описывать контору Семена Семеновича Рвацкого. Одно скажу, поразила меня вывеска: «Фотографические принадлежности». При чем здесь романы? Оглушительнее гораздо было то, что абсолютно ни одной фотопринадлежности в конторе не было. Лежали пять пакетов небольшого размера, и верхний был вскрыт, и я прочитал на коробочках надпись «Фенацетин». Фенацетин, мой друг, как Вам известно, конечно, не что иное, как пара-ацет-фенетидин, и примениться в фотографии может лишь в одном случае — это если у фотографа случится мигрень. Впрочем, я ведь фотографического дела не знаю, другое интересно: во втором углу лежали штук сто коробок килек. Так вот: Рвацкий, по словам редактора, в 2 1/2 часа должен был ехать в Наркомпрос. Кильки в Наркомпросе предлагать? Да? Или, наоборот, из Наркомпроса ему выдали кильки, и он хотел предъявить претензию, что они тухлые?

Масса народу толклось в конторе Рвацкого. Все были в шляпах и почему-то встревожены. Я слышал слова: «вексель», «Шапиро» и «проволока».

Принял меня Рвацкий как привидение. У меня создалось такое впечатление, что я его испугал. Твердо могу сказать, что ему мучительно не хотелось подписывать ни векселя, ни договор. Выходило из его слов такое: что и договор, и векселя это предрассудок и что неужели я думаю, что он не заплатит мне? Представьте себе, был момент, когда я дрогнул... Вижу, как Вы топаете ногой. Он хотел, чтобы я написал ему бумагу, что разрешаю ему печатать роман. Вы хохочете? Погодите. У меня хватило твердости. Я почувствовал, что я бледнею, и пошел к выходу. Тогда он меня вернул, мучительно пожимая плечами; при общих неодобрительных взглядах послал в лавочку за вексельной бумагой. Словом, я вышел из конторы через час, имея в кармане четыре векселя на четыре ничтожных суммы и договор[8]. Страшный стыд терзал меня за то, что я у Рвацкого взял векселя, я писатель, и у меня векселя в кармане!

Вы нетерпеливый, пылкий человек и, конечно, знаете, что было дальше: то есть он исчез через месяц, векселя оказались фальшивыми, он не Рвацкий вовсе, роман не вышел...

Нет, нет, ничего такого. Зачем такой примитив. Гораздо хуже вышло.

Врать не стану, по всем четырем векселям я получил, правда, не сполна, а меньше (до срока их выкупили у меня), роман вышел, но не полностью, а до половины! Рвацкий исчез, это так, но не через месяц, а в тот же день. И не в Наркомпрос он ехал, как я узнал потом случайно, а на поезд. И, понимаете, с тех пор я его не видал никогда (однако, надеюсь, что рано или поздно увижу, если буду жив)!

Но из-за того, что я в пыльный день сам залез зачем-то в контору к Рвацкому и, как лунатик, поставил свою подпись рядом с его, я:

1) принимал у себя на квартире три раза черт знает кого[9],

2) был в банке три раза,

3) был у нотариуса,

4) был еще где-то,

5) судился с редактором[10] в третейском суде. Причем пять взрослых мужчин, разбирая договоры: мой с редактором, редактора со страдальцем, мой с Рвацким и редактора с Рвацким, — пришли в исступление. Даже Соломон не мог бы сказать, кто владеет романом, почему роман не допечатан, какие кильки лежали в конторе, куда девался сам Рвацкий.

Однако сообразить удалось одно: что я на три года по кабальному договору отдал свой роман некоему Рвацкому, что сам Рвацкий неизвестно где, но у Рвацкого есть доверенные в Москве, и, стало быть, мой роман похоронен на 3 года, я продать его второй раз не имею права. Кончилось тем, что я расхохотался и плюнул.

Курьезная подробность: я своими глазами видел в телефонной книжке телефон Рвацкого С. С. Когда же состоялся суд, я, заглянув в ту же самую телефонную книгу, не нашел там Рвацкого.

Богом клянусь — говорю правду!

Этот номер меня потряс. Каким образом можно вытравить свою фамилию из всех телефонных книг в Москве?

Теперь забегаю вперед: прошло несколько лет, и, как Вы сами догадываетесь, Рвацкий отыскался за границей[11]. И там овладел моим романом и пьесой. Каким образом ему удалось провезти за границу роман, увесистый, как нагробная плита, мне непонятно.

Словом, мне стыдно. Такое разгильдяйство все-таки непростительно.

Но послушайте дальше. В один прекрасный день грянула весть, что редактор мой Рудольф арестован и высылается за границу[12]. И точно, он исчез. Но теперь я уверен, что его не выслали, ибо человек канул так, как пятак в пруд. Мало ли кого куда не высылали или кто куда не ездил в те знаменитые годы 1921—1925! Но все же, бывало, улетит человек в Мексику, к примеру. Кажется, чего дальше. Ан нет, получишь вдруг фотографию — российская блинная физиономия под кактусом. Нашелся! А этот не в Мексику, нет, говорят, был выслан всего только в Берлин. И ни звука. Ни слуху ни духу.

Нету его в Берлине. Нет и не может быть.

И лишь потом дело выяснилось. Встречаю я как-то раз умнейшего человека. Рассказал ему все. А он и говорит, усмехаясь:

— А знаете что, ведь вашего Рудольфа нечистая сила утащила, и Рвацкого тоже.

Меня осенило: а ведь верно.

— И очень просто. Ведь сами вы говорили, что Рудольф продал душу Дьяволу?

— Так, да.

— Ну, натурально, срок-то ведь прошел, ну, является черт и говорит: пожалуйте...

— Ой, Господи! Где же они теперь?

Вместо ответа он показал пальцем в землю, и мне стало страшно.

III. ПРИСТУП СЛАБОСТИ[13]. ФАУСТ, КАК СААРДАМСКИЙ ПЛОТНИК, СОВЕРШЕННО БЕССМЕРТЕН. НЕВРАСТЕНИЯ

Мне приснился страшный сон. Будто бы был лютый мороз и крест на чугунном Владимире в неизмеримой высоте горел над замерзшим Днепром.

И видел еще человека, еврея, он стоял на коленях, а изрытый оспой командир петлюровского полка бил его шомполом по голове, и черная кровь текла по лицу еврея. Он

погибал под стальной тростью, и во сне я ясно понял, что его зовут Фурман[14], что он портной, что он ничего не сделал, и я во сне крикнул, заплакав:

— Не смей, каналья!

И тут же на меня бросились петлюровцы, и изрытый оспой крикнул:

— Тримай його!

Я погиб во сне. В мгновение решил, что лучше самому застрелиться, чем погибнуть в пытке, и кинулся к штабелю дров. Но браунинг, как всегда во сне, не захотел стрелять, и я, задыхаясь, закричал.

Проснулся, всхлипывая, и долго дрожал в темноте, пока не понял, что я безумно далеко от Владимира, что я в Москве, в моей постылой комнате, что это ночь бормочет кругом, что это 23-й год и что уж нет давным-давно изрытого оспой человека.

Хромая, еле ступая на больную ногу, я дотащился к лампе и зажег ее. Она осветила скудность и бедность моей жизни. Я увидел желтые встревоженные зрачки моей кошки.

Я подобрал ее год назад у ворот. Она была беременна, а какой-то человек, проходя, совершенно трезвый, в черном пальто, ударил ее ногой в живот, и женщина у ворот видела это. Бессловесный зверь, истекая кровью, родил мертвых двух котят и долго болел у меня в комнате, но не зачах, я выходил его. Кошка поселилась у меня, но меня тоже боялась и привыкала необыкновенно трудно. Моя комната находилась под крышей и была расположена так, что я мог выпускать ее гулять на крышу и зимой и летом. А в коридор квартиры я ее не выпускал, потому что боялся, что я из-за нее попаду в тюрьму. Дело в том, что однажды ко мне пристали в темном переулке у Патриарших Прудов хулиганы. Я машинально схватился за карман, но вспомнил, что он уже несколько лет пуст. Тогда я на Сухаревке у одной подозрительной личности купил финский нож и с тех пор ходил всегда с ним. Так вот, я боялся, что, если кто-нибудь еще раз ударит кошку, меня посадят.

Она затосковала, увидя, что я поднялся, открыла глаза и стала следить за мною хмуро и подозрительно. Я глядел на потертую клеенку и растравлял свои раны. Я вспомнил, как двенадцать лет тому назад, когда я был юношей, меня обидел один человек, и обида осталась неотомщенной. И мне захотелось уехать в тот город, где он жил, и вызвать его на дуэль. Тут же вспомнил, что он уже много лет гниет в земле и праха даже его не найдешь. Тогда, как злые боли, вышли в памяти воспоминания еще о двух обидах. Они повлекли за собой те обиды, которые я нанес сам слабым существам, и тогда все ссадины на душе моей загорелись. Я, тоскуя, посмотрел на провод. Он свешивался и притягивал меня. Я думал о безнадежности моего положения, положив голову на клеенку. Была жизнь и вдруг разлетелась как дым, и я почему-то оказался в Москве, совершенно один в комнате, и еще на голову мою навязалась эта обиженная дымчатая кошка. Каждый день я должен был покупать ей на гривенник мяса и выпускать ее гулять, и, кроме того, она рожала три раза в год, и всякий раз мучительно, невыносимо, и приходилось ей помогать, а потом платить за то, чтобы одного котенка утопили, а другого растить и затем умильно предлагать кому-нибудь в доме, чтобы взяли и не обижали.

Обуза, обуза.

Из-за чего же это все?

Из-за дикой фантазии бросить все и заняться писательством[15].

Я простонал и пошел к дивану. Свет исчез. Во тьме некоторое время пели пружины простуженными голосами. Обиды и несчастья мало-помалу начали расплываться.

Опять был сон. Но мороз утих, и снег шел крупный и мягкий. Все было бело. И я понял, что это Рождество. Из-за угла выскочил гнедой рысак, крытый фиолетовой сеткой.

— Гись! — крикнул во сне кучер. Я откинул полость, дал кучеру деньги, открыл тихую и важную дверь подъезда и стал подниматься по лестнице.

В громадной квартире было тепло. Боже мой, сколько комнат! Их не перечесть, и в каждой из них важные, обольстительные вещи. От пианино отделился мой младший брат[16]. Смеялся, поманил меня пальцем. Несмотря на то, что грудь его была прострелена и залеплена черным пластырем, я от счастья стал бормотать и захлебываться.

— Значит, рана твоя зажила? — спросил я.

— О, совершенно.

На пианино над раскрытыми клавишами стоял клавир «Фауста», он был раскрыт на той странице, где Валентин поет.

— И легкое не затронуто?

— О, какое легкое.

— Ну, спой каватину.

Он запел.

От парового отопления волнами ходило тепло, сверкали электрические лампы в люстре, и вышла Софочка в лакированных туфлях. Я обнял ее. Потом сидел на своем диване и вытирал заплаканное лицо. Мне захотелось увидеть какого-нибудь колдуна, умеющего толковать сны. Но и без колдуна я понял этот сон.

Фиолетовая сеть на рысаке — это был год 1913-й. Блестящий, пышный год[17]. А простреленная грудь, это неверно — это было гораздо позже — 1919-й. И в квартире этой брат быть не мог, это я когда-то жил в квартире. На Рождестве я вел под руку Софочку в кинематограф, снег хрустел у нее под ботинками, и Софочка хохотала.

Во всяком случае, черный пластырь, смех во сне, Валентин означать могли только одно — мой брат, которого в последний раз я видел в первых числах 1919 года, убит. Где и когда, я не знаю, а может быть, не узнаю никогда. Он убит, и, значит, от всего, что сверкало, от Софочки, ламп, Жени, фиолетовых помпонов остался только я один на продранном диване в Москве ночью 1923 года. Все остальное погибло.

Ночь беззвучна. Пахнет плесенью. Не понимаю только одного, как могло мне присниться тепло? В комнате у меня холодно.

«Я развинтился, я развинтился», — подумал я, вздрагивая. Сердце то уходило куда-то вниз, то оказывалось на месте. «Нужно прежде всего найти бром».

Вздыхая, я надел стоптанные туфли. Тотчас укололо пятку, в туфлю попала кнопка. «Пусть колет меня, так легче».

Старая спальная шелковая рубашка послужила достаточно. Она разделилась на продольные полосы, но я ею дорожил как воспоминанием. Сверх рубашки набросил пальто и пополз, буквально пополз к столу.

«Интересно, в какую секунду я умру? Дойдя до стола или раньше? Дойдя до стола, следует написать записку — о чем? Вздор! Не поддаваться? Это просто отравление никотином, и вот предсердечная тоска, страх смерти».

Во всяком случае, на пути к столу я не умер. Начал умирать за столом. Кошка давно уже следила за мной.

«Кто-то, зверь, возьмет тебя?»

Я взял ручку и написал на клочке бумаги:

«Мурочка! Возьмите, пожалуйста, мою кошку к себе и не давайте Булдину обижать ее...»

Руки похолодели и покрылись холодной влагой. Не успею дописать.

Но я успел дописать.

«За это все вещи, находящиеся в комнате, дарю соседке моей, Марии Потаповне Кленовой».

Проще всего крикнуть: «Мурочка!»

Но я смутился от стыда. Разбужу не только Мурочку, но и Тараканова с женой. Фу, мерзость!

Я сдержался.

«Это смерть от разрыва сердца», — подумал я и почувствовал, что она оскорбляет меня. Смерть в этой комнате — фу... Войдут... галдеть будут... Хоронить не на что. В Москве, в пятом этаже, один...

Неприличная смерть.

Хорошо умирать в квартире на чистом душистом белье или в поле. Уткнешься головой в землю, подползут к тебе, поднимут, повернут лицом к солнцу, а у тебя уж глаза стеклянные.

Но смерть что-то не шла.

«Бром? К чему бром? Разве бром помогает от разрыва?»

Все же руку я опустил к нижнему ящику, открыл его, стал шарить в нем, левой рукой держась за сердце. Брому не нашлось, обнаружил два порошка фенацетину и несколько стареньких фотографий. Вместо брома я выпил воды из холодного чайника, после чего мне показалось, что смерть отсрочена.

Прошел час. Весь дом по-прежнему молчал, и мне казалось, что во всей Москве я один в каменном мешке. Сердце давно успокоилось, и ожидание смерти уже представлялось постыдным. Я притянул насколько возможно мою казарменную лампу к столу и поверх ее зеленого колпака надел колпак из розовой бумаги, отчего бумага ожила. На ней я выписал слова: «И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Затем стал писать, не зная еще хорошо, что из этого выйдет. Помнится, мне очень хотелось передать, как хорошо, когда дома тепло, часы, бьющие башенным боем в столовой, сонную дрему в постели, книги и мороз. И страшного человека в оспе, мои сны. Писать вообще очень трудно, но это почему-то выходило легко. Печатать этого я вообще не собирался.

Встал я из-за стола, когда в коридоре послышалось хриплое покашливание бабки Семеновны, женщины, ненавидимой мною всей душой за то, что она истязала своего сына, двенадцатилетнего Шурку. И сейчас даже, когда со времени этой ночи прошло шесть лет, я ненавижу ее по-прежнему.

Я откинул штору и увидел, что лампа больше не нужна, на дворе синело, на часах было семь с четвертью. Значит, я просидел за столом пять часов.

IV. ТРИ ЖИЗНИ

С этой ночи каждую ночь я садился к столу и писал часов до трех-четырех. Дело шло легко ночью. Утром произошло объяснение с бабкой Семеновной.

— Вы что же это. Опять у вас ночью светик горел?

— Так точно, горел.

— Знаете ли, электричество по ночам жечь не полагается.

— Именно для ночей оно и предназначено.

— Счетчик-то общий. Всем накладно.

— У меня темно от пяти до двенадцати вечера.

— Неизвестно тоже, чем это люди по ночам занимаются. Теперь не царский режим.

— Я печатаю червонцы.

— Как?

— Червонцы печатаю фальшивые.

— Вы не смейтесь, у нас домком есть для причесанных дворян. Их можно туда поселить, где интеллигенция, нам, рабочим, эти писания не надобны.

— Бабка, продающая тянучки на Смоленском, скорее частный торговец, чем рабочий.

— Вы не касайтесь тянучек, мы в особняках не жили. Надо будет на выселение вас подать.

— Кстати, о выселении. Если вы, Семеновна, еще раз начнете бить по голове Шурку и я услышу крик истязуемого ребенка, я подам на вас жалобу в народный суд, и вы будете сидеть месяца три, но мечта моя посадить вас на больший срок.

Для того чтобы писать по ночам, нужно иметь возможность существовать днем. Как я существовал в течение времени с 1921 г. по 1923-й, я Вам писать не стану. Во-первых, Вы не поверите, во-вторых, это к делу не относится.

Но к 1923 году я возможность жить уже добыл[18].

На одной из своих абсолютно уж фантастических должностей со мной подружился один симпатичный журналист по имени Абрам[19].

Абрам меня взял за рукав на улице и привел в редакцию одной большой газеты[20], в которой он работал. Я предложил по его наущению себя в качестве обработчика. Так назывались в этой редакции люди, которые малограмотный материал превращали в грамотный и годный к печатанию.

Мне дали какую-то корреспонденцию из провинции, я ее переработал, ее куда-то унесли, и вышел Абрам с печальными глазами и, не зная куда девать их, сообщил, что я найден негодным.

Из памяти у меня вывалилось совершенно, почему через несколько дней я подвергся вторичному испытанию. Хоть убейте, не помню. Но помню, что уже через неделю приблизительно я сидел за измызганным колченогим столом в редакции и писал, мысленно славословя Абрама.

Одно Вам могу сказать, мой друг, более отвратительной работы я не делал во всю свою жизнь. Даже сейчас она мне снится. Это был поток безнадежной серой скуки, непрерывной и неумолимой. За окном шел дождь.

Опять-таки не припоминаю, почему мне было предложено писать фельетоны. Обработки мои здесь не играли никакой роли. Напротив, каждую секунду я ждал, что меня вытурят, потому что, я Вам только скажу по секрету, работник я был плохой, неряшливый, ленивый, относящийся к своему труду с отвращением.

Возможно (и кажется так), что сыграла здесь роль знаменитая, неподражаемая газета «Сочельник»[21]. Издавалась она в Берлине, и в ней я писал фельетоны. Какая-то дама, вся в шелках и кольцах, представительница этой газеты в Москве.

....

....

— Из этой заметочки лучше всего бы фельетон сделать?

Секретарь взглянул на меня с удивлением.

— Но ведь вы не умеете?

Я покашлял.

— Попробуйте, — вдруг решительно сказал секретарь. Я попробовал. Не припомню решительно, в чем там было дело. Какая-то лестница в библиотеке обледенела, рабочие падали с книжками. На другой день это напечатали. Дальше — больше.

Среди скуки... ...В один прекрасный день ввалился наш знаменитый Июль[22], помощник редактора (его звали Юлий, а прозвали Июль), симпатичный человек, но фанатик, и заявил:

— Михаил, уж не ты ли пишешь фельетоны в «Сочельнике»?

Я побледнел, решил, что пришел мой конец. «Сочельник» пользовался единодушным повальным презрением у всех[23] на свете: его презирали заграничные монархисты, московские беспартийные и, главное, коммунисты. Словом, это была еще в мире неслыханная газета.

Я побледнел. Но, оказывается, что Июль хотел, чтобы я писал такие же хорошие фельетоны, как и в «Сочельнике». Я объяснил, что это, к сожалению, невозможно, что весь «Сочельник» другого стиля, фельетоны в нем также, но что я приложу все старания к тому, чтобы в газете Июля фельетоны выходили тоже хорошими.

И тут произошел договор. Меня переводили на жалованье повыше того, чем у обработчика, а я за это обязывался написать восемь небольших фельетонов в месяц.

Так дело и пошло.

И стал я писать. Я писал о том, как..........

....

Все это было мило, но вот в чем дело. Открою здесь еще один секрет: сочинение фельетона строк в семьдесят пять — сто занимало у меня, включая сюда и курение и посвистывание, от 18 до 22 минут. Переписка его на машинке, включая сюда и хихикание с машинисткой, — 8 минут. Словом, в полчаса все заканчивалось. Я подписывал фельетон или каким-нибудь глупым псевдонимом, или иногда зачем-то своей фамилией и нес его или к Июлю, или к другому помощнику редактора, который носил редко встречающуюся фамилию Навзикат.

Этот Навзикат был истинной чумой моей в течение лет трех. Выяснился Навзикат к концу третьих суток. Во-первых, он был неумен. Во-вторых, груб. В-третьих — заносчив. С беспартийными сотрудниками, подчиненными ему, держал себя вызывающе, оскорблял их подозрительностью. В газетном деле ничего не понимал. Так что почему его назначали на столь ответственный пост, недоумеваю.

Навзикат начинал вертеть фельетон в руках и прежде всего искал в нем какой-нибудь преступной мысли по адресу самого советского строя. Убедившись, что явного вреда нет, он начинал давать советы и исправлять фельетон.

В эти минуты я нервничал, курил, испытывал желание ударить его пепельницей по голове.

Испортив по возможности фельетон, Навзикат ставил на нем пометку: «В набор», и день для меня заканчивался. Далее весь свой мозг я направлял на одну идею, как сбежать. Дело в том, что Июль лелеял такую схему в голове: все сотрудники, в том числе и фельетонисты, приходят минута в минуту утром и сидят до самого конца в редакции, стараясь дать государству как можно более. При малейших уклонениях от этого честный Июль начинал худеть и истощаться.

Я же лелеял одну мысль, как бы удрать из редакции домой, в комнату, которую я ненавидел всею душой, но где лежала груда листов. По сути дела, мне совершенно незачем было оставаться в редакции. И вот происходил убой времени. Я, зеленея от скуки, начал таскаться из отдела в отдел, болтать с сотрудниками, выслушивать анекдоты, накуриваться до отупения.

Наконец, убив часа два, я исчезал.

Таким образом, мой друг, я зажил тройной жизнью. Одна в газете. День. Льет дождь. Скучно. Навзикат. Июль. Уходишь, в голове гудит и пусто.

Вторая жизнь. Днем после газеты я плелся в московское отделение редакции «Сочельника». Эта вторая жизнь мне нравилась больше первой. Там я мог несколько развернуть свои мысли.

Нужно Вам сказать, что, живя второю жизнью, я сочинил нечто[24], листа на четыре приблизительно печатных. Повесть? Да нет, это была не повесть, а так что-то такое вроде мемуаров.

Отрывок из этого произведения искусства мне удалось напечатать в литературном приложении к «Сочельнику». Второй отрывок мне весьма удачно пришлось продать одному владельцу частного гастрономического магазина. Он пылал страстью к литературе и, для того

чтобы иметь возможность напечатать свою новеллу под названием «Злодей», выпустил целый альманах. Там была, стало быть, новелла лавочника, рассказ Джека Лондона, рассказы советских писателей и отрывок Вашего слуги. Авторам он заплатил. Часть деньгами, часть шпротами. Очень следует отметить, что я впервые столкнулся здесь с цензурой. У всех было все благополучно, а у меня цензура вычеркнула несколько фраз. Когда эти фразы вывалились, произведение приобрело загадочный и бессмысленный характер и, вне всяких сомнений, более контрреволюционный. Дальше заело. Сколько ни бегал по Москве с целью продать кому-нибудь кусок из моего произведения, я ничего не достиг. Кусок не прельщал никого, равно как и произведение в целом. В одном, впрочем, месте мне сказал редактор, что считает написанное мной контрреволюционным и настойчиво советует мне более в таком роде не писать. Темные предчувствия тогда овладели мной, но быстро прошли. На выручку пришел «Сочельник». Приехавший из Берлина один из заправил этого органа, человек с желтым портфелем из кожи какого-то тропического гада, прочитав написанное мной, изъявил желание напечатать полностью мое произведение.

Отделение «Сочельника», пользуясь нищетой, слякотью осени, предложило по 8 долларов за лист (16 рублей).

Помню, то стыдясь за них, то изнывая в бессильной злобе, я получил кучку разноцветных, безудержно падающих советских знаков.

Три месяца я ждал выхода рукописи и понял, что она не выйдет. Причина мне стала известна, над повестью повис нехороший цензурный знак. Они долго с кем-то шушукались и в Москве, и в Берлине.

И настали тем временем морозы. Обледенела вся Москва, и в драповом пальто как-то раз вечером я пришел в «Сочельник» и увидел там Рудольфа. Рудольф сидел в дьяконской шубе и с мокрыми ресницами. Разговорились.

— А вы ничего не сочиняете? — спросил Рудольф.

Я рассказал ему про свое сочинение. Было известно всем, что Рудольф очень любит печатать только людей, у которых уже есть имя, журнал свой (тогда он еще был тонким) он вел умно.

Снисходительно улыбнувшись, Рудольф сказал мне:

— А покажите-ка.

Я тотчас вынул рукопись из кармана (я даже спал с нею). Рудольф прочитал тут же в шубе все четыре листа и сказал:

— А знаете ли что? Я напечатаю отрывок.

Я всячески постарался не выдавать Рудольфу своей радости, но, конечно, выдал ее. Напечатать у Рудольфа что-нибудь мне было очень приятно, мне, человеку зимой в драповом пальто.

Честность всегда приводит к неприятностям. Я давно уже знаю, что жулики живут, во-первых, лучше честных, а во-вторых, пользуются дружным уважением. И все-таки я не удержался, чтобы не предупредить Рудольфа о том, что никто не хочет печатать этой вещи, потому что боятся цензуры. Сказал и испугался, что Рудольф вернет мне рукопись. Но на Рудольфа, к удивлению моему, это не произвело никакого впечатления. Помнится, он что-то мне заплатил за отрывок, и очень скоро я увидел его напечатанным. Это доставило мне громадное удовольствие. Не меньшее — и то обстоятельство, что я был помещен на обложке в списке сотрудников журнала.

Рассказываю Вам об этом незначительном случае в жизни, чтобы Вы знали, как я познакомился с Рудольфом.

И далее пошла вертеться зима. Тройная жизнь. И третья жизнь моя цвела у письменного стола. Груда листов все пухла. Писал я и карандашом, и чернилом.

Меж тем фельетончики в газете дали себя знать. К концу зимы все было ясно. Вкус мой резко упал. Все чаще стали проскакивать в писаниях моих шаблонные словечки, истертые сравнения. В каждом фельетоне нужно было насмешить, и это приводило к грубостям. Лишь только я пытался сделать работу потоньше, на лице у палача моего Навзиката появлялось недоумение. В конце концов я махнул на все рукой и старался писать так, чтобы было смешно Навзикату. Волосы дыбом, дружок, могут встать от тех фельетончиков, которые я там насочинил.

Когда наступал какой-нибудь революционный праздник, Навзикат говорил:

— Надеюсь, что к послезавтрашнему празднику вы разразитесь хорошим героическим рассказом.

Я бледнел, и краснел, и мялся.

— Я не умею писать героические революционные рассказы, — говорил я Навзикату.

Навзикат этого не понимал. У него, как я уже давно понял, был странный взгляд на журналистов и писателей. Он полагал, что журналист может написать все, что угодно, и что ему безразлично, что ни написать. А меж тем, по некоторым соображениям, мне нельзя было объяснить Навзикату кой-что: например, что для того, чтобы разразиться хорошим революционным рассказом, нужно прежде всего самому быть революционером и радоваться наступлению революционного праздника. В противном же случае рассказ у того, кто им разразится по денежным или иным каким побуждениям, получится плохой. Сами понимаете, что на эту тему я с Навзикатом не беседовал. Июль был тоньше и умней и без бесед сообразил, что с героическими рассказами у меня не склеится. Печаль заволокла совершенно его бритую голову. Кроме того, я, спасая себя, украл к концу третьего месяца один фельетон, а к концу четвертого парочку, дав 7 и 6.

— Михаил, — говорил потрясенный Июль, — а ведь у тебя только шесть фельетонов.

Июль со всеми, начиная с наиответственного редактора и кончая уборщицей, был на «ты». И все ему платили тем же.

— Неужели только шесть? — удивлялся я. — Верно, шесть. Ты знаешь, Июль, у меня в последнее время частые мигрени.

— От пива, — поспешно вставил Июль.

— Не от пива, а от этих самых фельетонов.

— Помилуй, Михаил. Ты тратишь два часа в неделю на фельетон!

— Голубчик, если бы ты знал, чего стоит этот час.

— Ну, не понимаю... В чем дело?..

Навзикат сделал попытку прийти на помощь Июлю. Идеи рождались в его голове, как пузыри.

— Надеюсь, что вы разразитесь фельетоном по поводу французского министра.

Я почувствовал головокружение.

Вам, друг, объясняю, и Вы поймете: мыслимо ли написать хороший фельетон по поводу французского министра, если вам до этого министра нет никакого дела? Заметьте, вывод предрешен — вы должны этого министра выставить в смешном и нехорошем свете и обязательно обругать. Где министр, что министр? Фельетон политический можно хорошо написать лишь в том случае, если фельетонист сам искренне ненавидит этого министра. Азбука? Да?

Ну, давайте сочинять:

«Министр вошел в свой кабинет и позвонил...»

И — стоп. Что дальше?

Ну, позвонил секретарю. А что он ему говорил?

Словом, в конце концов отступились от меня. Навзикат в твердой уверенности, что я мелкий контрреволюционный спец, полегоньку саботирующий; Июль в уверенности, что я глубоко несчастливый человек из богемы, лентяй, заблудшая овца. Ни один из них не был прав, но один был ближе к истине.

На радостях, что я навеки избавился от французских министров и рурских горняков, я украл в том месяце три фельетона, дав пять фельетонов. Стыжусь признаться, что в следующем я представил четыре. Тут терпение Июля лопнуло, и он перевел меня на сдельную работу. Признаюсь, это меня очень расстроило. Мне очень хотелось бы, чтоб государство платило мне жалованье, чтобы я ничего не делал, а лежал бы на полу у себя в комнате и сочинял бы роман. Но государство так не может делать, я это превосходно понимаю...................

....

....

V. ОН НАПИСАН...

....

....

В этот момент случилось что-то странное. В нижней квартире кто-то заиграл увертюру из «Фауста». Я был потрясен. Внизу было пианино, но давно уже никто на нем не играл. Мрачные звуки достигли ко мне. Я лежал на полу, почти уткнувшись лицом в стекло керосинки, и смотрел на ад. Отчаяние мое было полным, я размышлял о своей ужасной жизни и знал, что сейчас она прервется наконец.

В голове возникли образы: к отчаянному Фаусту пришел дьявол, ко мне же не придет никто[25]. Позорный страх смерти кольнул меня еще раз, но я его стал побеждать таким способом: я представил себе, что меня ждет в случае, если я не решусь. Прежде всего, я вызвал перед глазами наш грязный коридор, гнусную уборную, представил себе крик замученного Шурки. Это очень помогло, и я, оскалив зубы, приложил ствол к виску. Еще раз испуг вызвало во мне прикосновение к коже холодного ствола.

«Никто не придет на помощь», — со злобой подумал я. Звуки глубокие и таинственные сочились сквозь пол. В дверь постучали в то время, когда мой малодушный палец осторожно придвигался к собачке. Именно благодаря этому стуку я чуть не пустил действительно себе пулю в голову, потому что от неожиданности рука дрогнула и нажала собачку.

Но вездесущий Бог спас меня от греха. Автоматический пистолет был устроен без предохранителя. Для того чтобы выстрелить, нужно было не только нажать собачку, но сжать весь револьвер в руке так, чтобы сзади вдавился в ручку второй спуск. Один без другого не производил выстрела. Так вот, о втором я забыл.

Стук повторился.

Я торопливо сунул револьвер в карман, записку скомкал и спрятал и крикнул сурово:

— Войдите! Кто там?

VI. ПРИ ШПАГЕ Я!

Дверь отворилась беззвучно, и на пороге предстал дьявол. Сын гибели, однако, преобразился. От обычного его наряда остался только черный бархатный берет, лихо надетый на ухо. Петушьего пера не было. Плаща не было, его заменила шуба на лисьем меху, и обыкновенные полосатые штаны облегали ноги, из которых одна была с копытом, упрятанным в блестящую галошу.

Я, дрожа от страху, смотрел на гостя. Зубы мои стучали.

Багровый блик лег на лицо вошедшего снизу, и я понял, что черному пришло в голову явиться ко мне в виде слуги своего Рудольфа.

— Здравствуйте, — молвил сатана изумленно и снял берет и галоши.

— Здравствуйте, — отозвался я, все еще замирая.

— Вы что ж это на полу лежите? — осведомился черт.

— Да керосинка... видите ли... — промямлил я.

— Гм! — сказал Вельзевул.

— Садитесь, прошу вас.

— Мерси. А лампу нельзя зажечь?

— Видите ли. Лампочка у меня перегорела, а сейчас уже поздно...

Дьявол ухмыльнулся, расстегнул портфель и вынул электрическую лампочку, запакованную в серый цилиндр.

— Вы так и носите с собой лампочки?

Дьявол усмехнулся снисходительно.

— Чистое совпадение, — ответил он, — только что купил.

Я ввинтил лампу, и неприятный свет озарил комнату. Дрожь моя прекратилась, и я внезапно сказал:

— А знаете ли, я до вашего прихода за минуту... гм... слышите, «Фауста» играют...

— Слышу!

Помолчали.

— А я шел мимо, — сказал Дьявол, — ну, думаю, дай, думаю, загляну.

— Очень приятно. Не прикажете ли чаю?

От чаю дьявол отказался.

Помолчали.

— Роман написали? — вдруг после паузы спросил черт.

Я вздрогнул.

— Откуда вы знаете?

— Бусин говорил.

— Гм... Я Бусину не читал. А кто этот Бусин?

— Один человек, — ответил Дьявол и зевнул.

— Написал, это верно, — отозвался я, страдая.

— А дайте-ка посмотреть, — сказал, скучая, Сатана, — благо у меня сейчас время свободное.

— Видите ли, Рудольф Рафаилыч, он не переписан, а почерк у меня ужасающий. Понимаете ли, букву «а» я пишу как «о», поэтому выходит...

— Это часто бывает, — сказал Мефистофель, зевая, — я каждый почерк читаю. Привычка. У вас в каком ящике он? В этом?

— Я, знаете ли, раздумал представлять его куда-нибудь.

— Почему? — спросил, прищурившись, Рудольф.

— Его цензура не пропустит.

Дьявол усмехнулся обольстительно.

— Откуда вы знаете?

— Говорили мне.

— Кто?

— Рюмкин, Плаксин, Парсов...

— Парсов, это маленький такой?

— Да, блондин.

— Я ведь не с тем, чтобы печатать, — объяснил лукавый, — а просто из любопытства. Люблю изящную словесность.

— Право... он мне разонравился... — и я сам не помню, кто открыл ящик.

Дьявол снял шубу, повесил ее на гвоздик, надел пенсне, окончательно превратился в Рудольфа, взял первую тетрадь, и глаза его побежали по строчкам. Это верно, по тому, как он перелистывал страницы, я убедился, что ни один самый нелепый почерк не может остановить его. Он читал, как печатное.

Прошло четыре часа. За эти четыре часа лукавый подкреплялся только один раз. Он съел кусок булки с колбасой и выпил стакан чаю. Когда стрелки «а часах стали „на караул", ровно в двенадцать ночи, Рудольф прочитал последние слова про звезды и закрыл пятую, и последнюю, тетрадь. Моей пытке настал конец, а за время ее я перечитал 1-й том „Записок Пиквикского клуба". Я старался не глядеть Рудольфу в глаза, не выдавать себя трусливым и жалким взглядом. Но глаза мои бегали.

«Ему не понравилось. Он брезгливо опустил углы губ, — подумал я, — я — несчастливец... И зачем я давал читать?»

— Это — черновик, видите ли, я его не исправлял еще... «Фу, и голос какой противный...»

— Ваша мама умерла? — спросил Рудольф.

— Да, — ответил я изумленно.

— А когда?

— Моя матушка скончалась в позапрошлом году от тифа, к великому моему горю, — сурово сказал я.

Дьявол выразил на лице вежливое официальное сожаление.

— А скажите, пожалуйста, где вы учились?

— В церковно-приходской школе, — ответил я проворно наобум. Дело, видите ли, в том, что я тогда почему-то считал нужным скрывать свое образование. Мне было стыдно, что человек с таким образованием служит в газете, лежит перед керосинкой на полу и у него нет картин на стенах.

— Так, — сказал Рудольф, и глаза его сверкнули.

— Виноват, собственно, к чему эти вопросы?

— Графу Толстому подражаете, — заметил черт и похлопал пальцем по тетради.

— Какому именно Толстому, — осведомился я, раздраженный загадочностью вопросов Рудольфа, — Льву Николаевичу, Алексею Константиновичу или, быть может, еще более знаменитому Петру Андреевичу, заманившему царевича Алексея в ловушку?

— Однако! — молвил Рудольф и прибавил: — Да вы не сердитесь. А скажите, вы не монархист?

Как полагается всякому при таком вопросе, я побледнел как смерть.

— Помилуйте! — вскричал я.

Дьявол хитро прищурился, спросил:

— Скажите, вы сколько раз бреетесь в неделю?

— Семь раз, — ответил я, теряясь.

— Сидите у керосинки, — Дьявол обвел глазами комнату, — один с кошкой и керосинкой, бреетесь каждый день... Кроме того, простите, еще один вопросик можно задать: каким образом вы достигаете того, что у вас пробор такой?

— Бриолином я смазываю голову, — ответил я хмуро, — но не всякий смазывающий голову бриолином так-таки обязательно монархист.

— О, я в ваши убеждения не вмешиваюсь, — отозвался Дьявол. Потом помолчал, возвел глаза к закопченному потолку и процедил: — Бриолином голову...

Тут интонации его изменились. Сурово сверкая стеклами пенсне, он сказал гробовым голосом:

— Роман вам никто не напечатает. Ни Римский, ни Агреев. И я вам не советую его даже носить никуда.

Дымчатый зверь вышел из-под стола, потерся о мою ногу.

«Как мы с тобой живем, кошка, как живем», — подумал я печально и поник.

— Есть только один человек на свете, который его может напечатать, — продолжал Рудольф, — и этот человек я!

Холод прошел под сердцем у меня, и я прислушался, но звуков «Фауста» более не слыхал, дом уже спал.

— Я, — продолжал Рудольф, — напечатаю его в своем журнале и даже издам отдельной книгой. И даже я вам деньги заплачу хорошие.

Тут он назвал чудовищно ничтожную сумму.

— Я вам далее сейчас дам вперед пятьдесят рублей.

Я молчал.

— Нижеследующая просьба, — заговорил он вновь, — нельзя ли ваш пробор размочить на неделю? И даже вообще я вам дружески советую, вы не носите его. И нельзя ли попросить вас не бриться эту неделю?

Я удивленно открыл рот.

— Завтра он будет перепечатан на машинке, — задумчиво сказал Рудольф.

— В нем 17 печатных листов! — испуганно отозвался я, — как он может быть перепечатан завтра?!

— Я, — железным голосом ответил Дьявол, — завтра в 9 часов утра сдам его в бюро и посажу 12 машинисток, разниму его на 12 частей, и они перепишут его к вечеру.

Я понял, что мне не следует с ним спорить, я восхищенно лежал у его ног.

— Это обойдется целковых в полтораста, заметьте, на счет автора. Послезавтра утром я отвезу его в цензуру, а через три дня вы поедете со мною туда.

— Слушаю, — сказал я мертвым голосом.

— Там вы не будете произносить ни одного слова, и никаких проборов, — сурово сказал Рудольф.

Тут я опять произвел слабую попытку бунтовать.

— Разве я такой дурак, — забурчал я, — что мне нельзя и рта открыть? А если это так, то поезжайте один. Зачем я нужен?

— Вы нужны вот зачем, — ледяным голосом продолжал Рудольф, — он вздумает что-нибудь вычеркнуть. Что именно — мне неизвестно. Хотя кой о чем я догадываюсь. Так вот, вы изъявите полное свое согласие на все, что он ни скажет. И хорошо было бы даже, если бы вы сказали ему какой-нибудь комплимент. Вроде того, что вот, мол, как он здорово придумал и что вы, автор, находите, что с такими купюрами ваш роман стал лучше в два раза.

— До чего мне это не по вкусу, — забормотал я и вдруг произнес громовую филиппику по адресу цензуры. Продолжалась она пять минут. Рудольф, раскинувшись, сидел на дырявом диване и от удовольствия щурил глазки. Наконец я закрыл рот.

— Вы кончили?

— Кончил.

— Дитя! — сказал Рудольф и, вынув красный красивый шестигранный карандаш, вычеркнул из эпиграфа «Из Апокалипсиса».

— Это вы напрасно, — заметил я, заглядывая к нему через плечо, — ведь он, наверное, и так знает, откуда это?

— Ни черта он не знает, — угрюмо ответил Рудольф и тут же пробежал по всем пяти тетрадям и вычеркнул еще штук шесть фраз, каждый раз вежливо осведомляясь у меня: «Разрешите?»

Затем он вручил мне пять червонцев, а затем сам он в берете и мой роман провалился сквозь пол. Мне почудилось, что я видел клок пламени, выскочивший из паркетной шашки, и долго еще пахло в комнате серой. Впрочем, может быть, это мне и показалось.

Уж давным-давно погасла оставшаяся мне в презент лампочка и кошка заснула на газетах, а я все стоял у стекла и смотрел во мрак. Мой дом плыл, как многоярусный корабль, распустив черные паруса. Над ним варилось дымное месиво.

Когда я заснул, мне приснились юнкера 18-го года. Они шли валом, и свистели, и пели дикую песню. Сны кошки мне неизвестны. Надо полагать, что она видела во сне собак, а, может быть, и людей. А это много страшнее.

VII. РАЗМЫТАЯ ФОТОГРАФИЯ

Что происходило в дальнейшем, Вам, бесценный друг, известно из ранее написанного: разорение человека с колосьями, кильки и векселя, Рвацкий, чепуха.

Все остальное размыло в моей памяти начисто. Не помню ничего! Кажется, шел дождь. И еще знаю, что скука, одуряющая скука терзала меня. Она разливалась повсюду, она вошла в меня, и от нее гнила моя кровь. Помнится, видел я окурки и плевки на Страстной Площади, каких-то баб с мокрыми подолами, Навзикат, нога у меня болела, и я, хромая, ходил в газету. И стал лохматый... Мимо! Мимо!

VIII. ВЫХОД РОМАНА

И настал день, в который я все-таки дрогнул. Когда загорелись лампы и фонари и кубиковая мостовая залоснилась, я пошел в помещение Рвацкого. И вот Вам доказательство того, как все размыло: не помню, весна ли это была, быть может, лето. Или февраль? Февраль? Не помню.

В помещении все изменилось. Ни килек не было, ни Рвацкого, но зато воздвигли какие-то фанерные перегородки, и в одной из клетушек восседал Рудольф под ослепительнейшей лампой, а перед ним в двух колоннах стояли свежевыпущенные книжки журнала. Синие их обложки выглядели нарядно. Рудольф сиял и встретил меня теплым рукопожатием.

Перед Рудольфом сидел молодой человек совершенно особого типа. Я нередко встречал их в различных редакциях. Приметы их следующие. Лет от 25 до 30. Никогда не больше и не меньше. Одет прилично. Пиджак, а иногда и визитка, правда, старенькая. Брюки непременно полосатые. Галстух непременно или длинный вишневого цвета, или бабочкой в клетку. Непременно с тростью, трость с набалдашником из серебра. Непременно хорошо причесаны. Кто они такие — никто не знает. Кто их родители? Чем они живут? Сами они не пишут. На вопрос, как их фамилия, редактор отвечает, щурясь:

— Фамилия? Пи... черт, забыл!

Они бывают в редакциях во все торжественные дни, в день выхода очередных книжек, в дни больших литературных скандалов, в дни закрытий журналов. Особая примета: любят шептаться с женщинами в редакциях и очень вежливы с ними и всех народных комиссаров называют дружески по имени и отчеству.

Так они не говорят:

— Народный комиссар такой-то.

Или:

— Т[оварищ] такой-то...

А так:

— Вчера Анатолий Васильевич рассказывал нам, мы очень смеялись...

Из чего можно заключить, что они бывают у наркомов, что ли? Впрочем, не знаю.

Словом, он сидел уже тут.

Сел и я.

Рудольф немедленно обратился к незнакомцу и спросил его:

— Ну, как вы находите новый роман?

У меня дрогнуло сердце, я искоса глянул на руки молодому человеку. В них была книжка, раскрытая как раз на моем романе.

Молодой человек очень оживился и заговорил, картавя:

— Рудольф Максимыч! Не понимаю! Воля ваша! Что вас заставило напечатать его, решительно не понимаю. Во-первых, это вовсе не роман.

— А что же это? — спросил Рудольф, наслаждаясь моим лицом, глаза его пылали.

— Черт... не понимаю!.. Во всяком случае, с моей точки зрения, Рудольф Максимыч, это очень дурно, вы меня простите! Бездарно в полной мере. И, кроме того, здесь он пишет «петухи налетали». Петух не летает, Рудольф Максимыч! Скажите это автору. Он бездарен, еще и неграмотен.

— А вы ему сами скажите, — ответил бандит Рудольф, — вот он. Познакомьтесь. Он утверждает, что кончил церковно-приходскую школу.

Я немедленно встал и, любезно оскалившись, протянул молодому человеку руку. Она была мертва и холодна. Он, бледный, закинулся на спинку стула и молчал все время, пока я получил у Рудольфа авторские экземпляры и вышел.

Но когда выходил, слышал тонкий вой:

— Рудольф Максимович! — И хохот весельчака Рудольфа.

Мой друг! Вам, наверно, приходилось читать такие сообщения:

«Французский писатель N. написал роман. Роман разошелся во Франции в течение месяца в количестве 600 тысяч экземпляров и переведен на немецкий, английский, итальянский, шведский и датский языки. В течение месяца бывший скромный (или клерк, или офицер, или приказчик, или начальник станции) приобрел мировую известность».

Через некоторое время в ваши руки попадает измызганный номер французского или немецкого иллюстрированного журнала, и вы видите избранника судьбы. Он в белых брюках и синем пиджаке. Волосы его растрепаны, потому что с моря дует ветер. Рядом с ним в короткой юбке и шляпе некрасивая женщина с чудесными зубами. На руках у нее лохматая собачонка с острыми ушами. Видна бортовая сетка парохода и кусок шезлонга, за сеткой ломаные волны. Подпись показывает, что счастлив избранник, он уезжает в Америку с женой и собачкой.

Отравленный завистью, скрипнув зубами, швыряете вы журнал на стол, закуриваете, нестерпимый смрад подымается от годами не чищенной пепельницы. Пахнет в редакции сапогами и почему-то карболкой. На вешалке висят мокрые пальто сотрудников. Осень, но один из сотрудников пришел в капитанской кепке с белым верхом, и она мокнет и гниет на гвозде. За стеклами идет дождь. Он шел вчера, идет сегодня и будет идти завтра...

Не солгу Вам, мой друг, мой роман не только не вышел в количестве шестисот тысяч, но он не вышел и вовсе. Что касается же тех двух третей романа, что были напечатаны в журнале Рудольфа, то они не были переведены на датский язык, и в Америку с собачкой на яхте я не ездил. Даже более того, он настолько не произвел никакого впечатления, что иногда мне

начинало казаться, будто он вовсе не выходил. В течение месяцев двух я не встретил ни одной живой души, которая бы читала мой роман[26]. Сам я зато перечитал напечатанное раз пятнадцать и пришел к выводу, что Рудольф ночью уволок у меня из комнаты черновики. Если бы над этими черновиками я просидел еще несколько месяцев, действительно можно было бы сделать приличный роман.

Итак, прошло два месяца. К концу второго месяца я наконец убедился, что люди, прочитавшие мое произведение искусства, на свете имеются.

В редакции встретил я развязного и выпившего поэта Вову Боргузина. Вова сказал:

— Читал, Мишенька, я ваш роман в журнале «Страна». Плохонький роман, Мишун, вы...{1}

Комментарии. В. И. Лосев

Тайному другу

Впервые — Неделя. 1974. №43 (отрывок); Памир. 1987. №4 (полностью, с ошибками); Новый мир. 1987. №8 (полностью, с ошибками).

Черновая рукопись неоконченной повести датирована автором на первом листе: «Сентябрь 1929 г.».

Печатается по автографу, хранящемуся в НИОР РГБ (ф. 562, к. 5, ед. хр. 2).

Об истории этого сочинения в воспоминаниях Елены Сергеевны Булгаковой сказано: «В сентябре 1929 года, когда я отдыхала на Кавказе, Михаил Афанасьевич написал мне, что он „готовит к приезду подарок, достойный..." (У него была манера обрывать фразу на самом интересном месте.)

Вернувшись в Москву, я получила от него этот таинственный подарок. Он протянул мне тоненькую тетрадку, написанную его характерным почерком и открытую на первой странице.

Выглядела она так: „Тайному другу..."»

Более подробно об этом же она рассказала в письме к своему брату А. С. Нюренбергу 13 февраля 1961 г.: «Потом пришла весна, за ней лето, я поехала в Ессентуки на месяц. Получала письма от Миши, в одном была засохшая роза и вместо фотографии — только глаза его, вырезанные из карточки. И писал, что приготовил для меня достойный подарок, чтобы я ехала скорей домой. А подарок был — что он посвящает мне роман, показал черновик, тетрадь (она хранится у меня), на первой странице написано: „Тайному другу". Это — черновик его романа „Записки покойника" — из театральной жизни. А на экземпляре книги „Дьяволиада" он написал в 33-м году: „Тайному другу, ставшему явным, жене моей Елене. Ты совершишь со мной мой последний полет. Твой М. 21 мая". (День моих имянин)».

Елена Сергеевна была долгое время едва ли не самым близким другом писателя, с кем он мог доверительно общаться. Другом близким, но тайным. О знакомстве с Булгаковым она не любила рассказывать (как, кстати, и сам писатель), но в упомянутом уже письме к брату своему все-таки затронула эту тему. Вот ее свидетельство: «На днях будет еще один, 32-летний, юбилей — день моего знакомства с Мишей. Это было на масляной, у одних общих знакомых. По Киеву они были знакомы с Мишей, но он их не любил и хотел закончить бывать у них. С другой стороны, и Евгений Александрович (Е. А. Шиловский, муж Елены Сергеевны. — *В. Л.),* живя в какое-то время в Киеве, познакомился с ними... А мне почему-то не хотелось с ними знакомиться. Но тогда они позвонили и, уговаривая меня прийти, сказали, что у них будет знаменитый Булгаков, — я мгновенно решила пойти. Уж очень мне нравился он как писатель. А его они тоже как-то соблазнили, сказав, что придут интересные люди, словом, он пошел. Сидели мы рядом (Евгений Александрович был в командировке, и я была одна), у меня развязались какие-то завязочки на рукаве... я сказала, чтобы он мне завязал. И он потом уверял всегда, что тут и было колдовство, тут-то я его и привязала на всю жизнь... Тут же мы условились идти на следующий день на лыжах. И пошло. После лыж — генеральная „Блокады",

после этого — актерский клуб, где он играл с Маяковским на бильярде, и я ненавидела Маяковского и настолько явно хотела, чтобы он проиграл Мише, что Маяковский уверял, что у него кий в руках не держится... Словом, мы встречались каждый день... Потом... ведет в какой-то дом... Открывает какой-то старик, высоченного роста, красивый... Я сидела на ковре около камина, старик чего-то ошалел: „Можно поцеловать вас?" — „Можно, говорю, целуйте в щеку". А он: „Ведьма! Ведьма! Приколдовала!" „Тут и я понял, — говорил потом всегда Миша, вспоминая с удовольствием этот вечер, вернее, ночь, — что ты ведьма! Присушила меня!"»

Для нас важно то обстоятельство, что Булгаков составлял важнейшее письмо правительству (письмо это действительно было судьбоносным) 28 марта 1930 г. вместе с «тайным другом» — Еленой Сергеевной, которая уже была посвящена во многие «тайны» писателя-отшельника. В этот решающий для писателя момент она сыграла колоссальную роль в изменении его судьбы. Мы сейчас не даем оценок этому влиянию, но только констатируем сам факт: Елена Сергеевна уже тогда, не будучи еще женой Булгакова, стремилась его спасти. В связи с этим представляют исключительный интерес записи В. Я. Лакшина, сделанные им во время бесед с Еленой Сергеевной. Цитируем: «Когда Булгаков соединился с Е. С, он сказал ей: „Против меня был целый мир — и я один. Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно". Близкий ему круг 20-х гг., либеральная „Пречистенка"[27] выдвигала Булгакова как знамя. „Они хотели сделать из него распятого Христа. Я их за это возненавидела..."» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 414).

Самое важное в словах Елены Сергеевны — это ее потрясающе точное понимание сложившейся вокруг Булгакова ситуации в конце 20-х — начале 30-х гг.: для значительной части русской интеллигенции Булгаков был знаменем. Власть сознавала его оппозиционность. Причем эта оппозиционность была исключительно эффективна, поскольку свои взгляды, видение жизни Булгаков очень умно реализовал в своих произведениях, к которым было приковано пристальное внимание всех, кто так или иначе участвовал в общественно-политических событиях. За Булгаковым, за его судьбою внимательно наблюдали не только внутри страны, но и за рубежом. Но особенность ситуации заключалась в том, что «наблюдающих» было много (к ним относилась и «Пречистенка»), но реальное содействие писателю оказать они не могли. Булгаков, по сути, был обречен. Он это понимал совершенно отчетливо и с полным сознанием своего трагического положения создавал образ Иешуа применительно не только к Ершалаиму древнему, но и к Ершалаиму московскому, «красному Ершалаиму» (цитата из первой редакции романа).

Итак, Булгаков был на краю пропасти, и никаких средств к спасению он не находил. О его намерениях можно судить по воспоминаниям Е.С.Булгаковой, которые записал В.Я.Лакшин: «В 1929 году, „лишенный огня и воды", Булгаков готов был наняться рабочим, дворником, — его никуда не брали. После разговора по телефону со Сталиным, когда ему была обещана работа в Художественном театре, он бросил револьвер в пруд. Кажется, в пруд Новодевичьего монастыря...» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 414). Писатель погибал на глазах интеллигенции, и все ждали естественной развязки... Каких-либо активных действий в его защиту не было («Против меня был целый мир — и я один»), и лишь Елена Сергеевна, «тайный друг», проявила упорство в его защите. Для нее Булгаков был не «знаменем», а любимым человеком, которого во что бы то ни стало нужно было спасти. Таким спасительным чудом явилось письмо правительству от 28 марта 1930 г., которое Елена Сергеевна и печатала, и разносила по адресатам. Распятие писателя тогда не состоялось, оно было до поры отложено московским прокуратором. Это дало повод недоброжелателям говорить о том, что Булгаков стал «иным». Отчасти упрекали в этом Елену Сергеевну.

Несомненно, Елена Сергеевна оказывала на писателя сильнейшее влияние, стремясь помочь ему занять видное место в реальной театральной и литературной жизни столицы... Но чего-либо решительного в этом направлении она не добилась. «Изменить» Булгакова было невозможно.

Повесть «Тайному другу» характерна прежде всего тем, что Булгаков в ней естествен и открыт, многие факты из его жизни стали известны именно из этого неоконченного автобиографического сочинения... Не исключено, что замысел «театральной повести», а затем и «театрального романа» возник у писателя после выхода в свет превосходной книжечки Надежды Бром-лей «Птичье королевство. Рассказ актрисы» (М., 1929), в которой известная актриса и режиссер описала в сатирически-иронической форме театральную жизнь столицы.

Исповедь «Тайному другу» занимала в ряду творческих замыслов писателя свое место: она дополняла автобиографическими чертами тот трагический путь истинного художника, который Булгакову суждено было пройти в условиях господства «Кабалы святош» (замысел пьесы «Кабала святош» со всей очевидностью вытекал из реальной обстановки, сложившейся вокруг писателя).

Повесть обрывается на полуслове. В том же году Булгаков продолжил свое театральное повествование под названием «Театр», но в начале 1930 г. уничтожил вместе с другими произведениями...

Авторские сноски

{1}

На этом текст обрывается.

Тайному другу

1

Дионисовы мастера. Алтарь Диониса. Сцены. — Булгаков обозначает темы, которые предполагал раскрыть в повести-романе, но не успел это сделать.

В этих заглавиях-темах драматург указывает на древние корни театрального искусства. Возникновение драмы и комедии в Древней Греции восходит к так называемым дионисиям — праздникам в честь древнегреческого бога Диониса, которого почитали богом-покровителем различных массовых красочных представлений, из которых и зародился театр. С давних времен актеры называли себя «мастерами Диониса», а сами представления разыгрывались на сцене (орхестре), в центре которой возвышался «алтарь (жертвенник) Диониса».

Для Булгакова все эти «магические» словосочетания были чрезвычайно важны, ибо непосредственное участие в современных ему «дионисиях» чаще всего заканчивалось для него печально. Возлагая на «алтарь Диониса» свое творчество, Булгаков приносил себя в жертву не древним, а современным обитателям политического Олимпа.

2

«Трагедия машет мантией мишурной». — Навеяно Булгакову строками из «Евгения Онегина»:

Но там, где Мельпомены бурной

Протяжный раздается вой,

Где машет мантией мишурной

Она пред хладною толпой...

В феврале 1931 г. Михаил Афанасьевич запишет в томике «Белой гвардии», подаренном Елене Сергеевне: «Муза, муза моя, лукавая Талия!»

3

...в год катастрофы... — Напомним, что к осени 1929 г. вокруг писателя сложилась атмосфера безудержной травли. Все пьесы его были сняты, средств к существованию он не имел, за границу его также не отпускали. Подводя печальные итоги, Булгаков писал 28 сентября 1929 г. М. Горькому: «Все мои пьесы запрещены, нигде ни одной строки моей не напечатают, никакой готовой работы у меня нет, ни копейки авторского гонорара ниоткуда не поступает, ни одно учреждение, ни одно лицо на мои заявления не отвечает, — словом, все,

что написано мной за десять лет работы в СССР, уничтожено. Остается уничтожить последнее — меня самого».

И в этой невыносимой ситуации Булгаков не только не сложил руки, но, напротив, работал как никогда энергично. Мало кому было известно, что он к тому времени уже написал роман о дьяволе, в котором ненавистные писателю гонители четко «проявлялись» не только в изображении современной художнику действительности, но и в оригинальной интерпретации событий, происходивших в древнем Ершалаиме.

Следует отметить, что Булгаков чуть позже расширил хронологические рамки своей «катастрофы». В письме В. В. Вересаеву 2 августа 1933 г. он писал: «Ох, буду я помнить годы 1929—1931!» Впрочем, «катастрофы» были еще и впереди.

4

...он редактор был... — Речь идет о Лежневе (Альтшуллере) Исайе Григорьевиче (1891—1955), редакторе журнала «Россия».

5

...ухитрился издавать... частный толстый журнал! — В письме Ю. Л. Слезкину (31 августа 1923 г.) Булгаков сообщал: «Лежнев начинает толстый ежемесячник „Россия" при участии наших и заграничных. Сейчас он в Берлине, вербует. По-видимому, Лежневу предстоит громадная издательско-редакторская будущность. Печататься „Россия" будет в Берлине». Лежнев возглавлял журнал «Россия» («Новая Россия») в 1922—1926 гг., где были опубликованы в 1923 г. «Записки на манжетах», а в 1925 г. две части романа «Белая гвардия».

6

...заключить договор с человеком, фамилия которого Рвацкий! — Речь идет о З. Л. Каганском, издателе журнала «Россия», с которым Булгаков заключил договор (6 января 1925 г.) об издании романа «Белая гвардия» в журнале «в нескольких книжках» и о последующем издании романа «отдельной книгой». Самым «примечательным» в этом договоре был пункт четвертый, согласно которому журнал и издательство «Россия» получали право «эксплуатации романа до 3 июля 1926 года». За издательством сохранялись также преимущественные права при заключении Булгаковым договора на второе издание. Именно эти положения договора стали впоследствии опорой и основой для всевозможных махинации, которые предпринял Каганский после бегства за границу. Тяжба Булгакова с Каганским продолжалась 15 лет, и автор каждый раз терпел жестокое поражение в споре с мошенником.

В дневнике писателя сохранилось несколько записей, касающихся издания романа. Первая из них от 25 июля 1924 г.: «...началось то, что приходится проделывать изо дня в день, не видя впереди никакого просвета, — бегать по редакциям в поисках денег... Кошмарное существование... В довершение всего днем позвонил Лежневу по телефону, узнал, что с Каганским пока можно и не вести переговоров относительно выпуска „Белой гвардии" отдельной книгой, так как у того денег пока нет. Это новый сюрприз. Вот тогда не взял 30 червонцев, теперь могу каяться. Уверен, что „Гвардия" останется у меня на руках». И затем в течение пяти месяцев записей на эту тему в дневнике не последовало.

7

— *А почему же первый наш договор я подписал с вами?* — Речь идет о договоре Булгакова с Лежневым на первую публикацию романа «Белая гвардия» в журнале «Россия», который пока не найден.

8

...имея в кармане четыре векселя... и договор. — Из дневниковых записей Булгакова: 29 декабря 1924 г.: «Лежнев ведет переговоры с моей женой, чтобы роман „Белая гвардия" взять у Сабашникова и передать ему. Люба отказала, баба бойкая и расторопная, и я свалил с своих плеч обузу на ее плечи. Не хочется мне связываться с Лежневым, да и с Сабашниковым

расторгать договор неудобно и неприятно». 3 января: «Сегодня у Лежнева получил 300 рублей в счет романа „Белая гвардия", который пойдет в „России". Обещали на остальную сумму векселя...» К сожалению, Булгаков не отразил в дневнике свои впечатления о встрече с Рвацким-Каганским...

9

...принимал у себя на квартире три раза черт знает кого... — Очевидно, речь идет о проведенном сотрудниками ОГПУ 7 мая 1926 г. обыске на квартире Булгаковых, а также о двух допросах писателя в помещении ОГПУ 22 сентября и 18 ноября 1926 г. Булгаков эти три события обобщил и привел к «единому знаменателю». Столь решительные меры были применены к Булгакову в связи с разгоном сменовеховского движения (исчезновение Лежнева и Каганского объяснялось этой же причиной). Но фактически писателя пытались запугать в связи с предстоящей постановкой «Дней Турбиных» и хождением по рукам запрещенного цензурой текста «Собачьего сердца». Материалы обыска и первого допроса опубликованы (см.: *Булгаков М.* Дневник. Письма. 1914—1940. М., 1997. С. 140—161), о втором же допросе пока умалчивается.

10

...судился с редактором... — Сохранилось заявление Булгакова в конфликтную комиссию Союза писателей России от 26 октября 1925 г. следующего содержания: «Редактор журнала „Россия" Исай Григорьевич Лежнев, после того как издательство „Россия" закрылось, задержал у себя, не имея на то никаких прав, конец моего романа „Белая гвардия" и не возвращает мне его. Прошу дело о печатании „Белой гвардии" у Лежнева в конфликтной комиссии разобрать и защитить мои интересы». Разумеется, докопаться до сути дела никто не смог и интересы писателя никто не защитил.

11

...Рвацкий отыскался за границей. И там овладел моим романом и пьесой. — Это темнейшее дело до их пор до конца не прояснилось. Суть вроде бы ясна: мошенники обманули писателя. Но как это было сделано «технологически» — не вполне ясно. Следует заметить, что работал Каганский «мастерски» (судим по конкретному вопросу — о присвоении прав на «Зойкину квартиру» — см.: Дневник. Письма. С. 188—189). И хотя Булгаков после этого действовал решительно (опубликовал в различных газетах Европы несколько «открытых писем» против Каганского), но ничего добиться не смог. Более того, Каганский, для которого, конечно, открытые письма Булгакова были неприятны, поместил в берлинской газете «Дни» следующее письмо:

«ДЕЛО М. БУЛГАКОВА

(Письмо в редакцию)

Многоуважаемый г. Редактор!

...настоящим, в целях восстановления истины, сообщаю:

1) Я, как владелец издательства „Россия", приобрел от г. М. Булгакова не только право на печатание „Белой гвардии" в журнале „Россия", но право издания и отдельной книгой. Договор не просрочен и не аннулирован, деньги г. М. Булгаков получил от меня полностью. То, что журнал „Россия" был закрыт в 1926 году, не является основанием для нарушения договора г. М. Булгаковым.

2) Пьесу „Дни Турбиных" я получил от г. М.Булгакова через его уполномоченного, которому выдал определенный аванс за пьесу, взяв на себя обязательство платить г. М. Булгакову через его уполномоченного...

Я не отказываюсь от суда коронного или третейского, куда доставлю все документы по этому делу.

С совершенным почтением, 3. Л. Каганский».

Перемешав факты с абсолютной ложью, Каганский не только отверг притязания Булгакова, но и нанес по писателю удар морального характера, сообщив, что будто бы Булгаков передал ему «Дни Турбиных» через уполномоченного (имеются в виду какие-то закулисные игры).

Булгаков ответил яростным письмом, из которого мы приведем лишь несколько наиболее важных фраз:

«Я — М. Булгаков — извещаю всех, что, во-первых, у меня нет и не было никакого уполномоченного. Во-вторых, ни через какого уполномоченного ни одной из моих пьес я г. 3. Каганскому не передавал, и, даже будь у меня уполномоченный, ни в коем случае именно г. 3. Каганскому не передал бы...

Итак, вторично сообщаю, что ни на роман „Белая гвардия", ни на пьесу „Дни Турбиных" 3. Л. Каганский прав не имеет.

Г-на 3. Каганского я привлекаю к ответственности...»

Но кого Булгаков мог привлечь к ответственности, если ему из ВОКСа сообщали, что «поскольку между Россией и европейскими странами нет конвенции, издание пьесы, равно как и исполнение ее на сцене, никем никому возбраняемо быть не может...»?

12

...мой Рудольф арестован и высылается за границу. — И. Г. Лежнев был не малой фигурой среди сменовеховцев, и против него лично выступал, например, Н. И. Бухарин. Но поскольку изначально движение сменовеховцев было создано с согласия ЦК ВКП(б), то и ликвидация его происходила весьма своеобразно. Во всяком случае, высланный за границу Лежнев в начале 30-х гг. появился в Москве и стал одним из ведущих сотрудников газеты «Правда». С его именем связан один курьезнейший случай, который произошел уже в наше время. Разбирая бумаги, оставленные Лежневым, исследователи обнаружили тексты романа «Белая гвардия», которые Булгаков в 1925 г. передал редактору «России». Но сохранились они совершенно случайно, потому что Лежнев использовал их как бумажную основу, на которую наклеивал собственные критические статьи. В таком «оригинальном» виде они и поступили в архив писателя.

13

Приступ слабости. — Этот и другие заголовки третьей главы зачеркнуты автором.

14

...его зовут Фурман... — Булгаков рассказывает о подлинном событии тех лет, когда портной Фурман был зверски убит петлюровцами.

15

Из-за дикой фантазии бросить все и заняться писательством. — Булгаков постоянно размышлял на эту тему, особенно в начале 20-х гг. Об этом сохранились и дневниковые записи с удивительными признаниями.

16

От пианино отделился мой младший брат. — Несколько лет Булгаков ничего не знал о судьбе своих младших братьев — Иване и Николае. Мучительные мысли о них отразились в рассказе «Красная корона*.

17

...год 1913-й. Блестящий, пышный год. — В этом году Булгаков женился на Татьяне Николаевне Лаппа и закрепился в университете. Но для Булгакова все годы до кровавых событий в России были «беспечальными», и поэтому он противопоставляет 1913 год 1919-му.

18

Но к 1923 году я возможность жить уже добыл. — Тому есть подтверждения и в дневниковых записях. 3 сентября 1923 г.: «Жизнь складывается так, что денег мало, живу я, как всегда, выше моих скромных средств. Пьешь и ешь много и хорошо, на покупки вещей не хватает».

19

...журналист по имени Абрам. — Речь идет о журналисте Эрлихе Ароне Исаевиче (1896—1963), авторе воспоминаний о Булгакове (в кн.: Нас учила жизнь. М., 1960).

20

...привел в редакцию одной большой газеты... — Имеется в виду газета «Гудок», где Булгаков стал служить литобработчиком и фельетонистом (обработчиком — с февраля 1923 г., а фельетонистом — с октября того же года).

21

...неподражаемая газета «Сочельник». — Имеется в виду газета «Накануне».

22

...знаменитый Июль... — Видимо, речь идет об Августе Потоцком. О нем М. Штих в очерке «В старом „Гудке"» (см.: Воспоминания об Ильфе и Петрове. М., 1963) писал: «Это был человек необычайной судьбы. Граф по происхождению, он встретил революцию как старый большевик и политкаторжанин. Странно было представить себе Августа (так все мы называли его) отпрыском аристократической фамилии. Атлетически сложенный, лысый, бритый, он фигурой и лицом был похож на старого матроса... Трудно было представить „Гудок" без Августа. Официально он считался заведующим редакцией, но казалось, что у него было еще десять неофициальных должностей. ...Жил как истый бессребреник и спартанец. За все это, а еще за грубоватую, но необидную прямоту и редкостную душевность коллектив очень любил Августа». В дневнике Булгакова о Потоцком имеются лишь упоминания вскользь.

23

«Сочельник» пользовался... повальным презрением у всех... — 4 января 1927 г. парижская газета «Последние новости», редактируемая небезызвестным П. Н. Милюковым, поместила любопытнейшую статью «Как это было», в которой обильно цитировалась саморазоблачающая статья С. Лукьянова, одного из главных руководителей сменовеховского движения. В тексте «Последних новостей» говорилось: «С. Лукьянов поместил статью по поводу смерти Красина... Оказывается, именно Красин явился отцом, покровителем и создателем так называемого сменовеховства... Вот что произошло. Группа парижских сменовеховцев отправилась весной 1921 г. в Лондон к Красину. От него и только от него зависело „придать ему (сменовеховству. — *В. Л.)* смысл общественного движения"... Парижские гости поставили Красину вопрос: „Признание Октябрьской революции как неизбежного и положительного явления достаточно ли для участия в творческой, строительной работе в советской России?" Красин ответил „решительно да", и Лукьянов внушительно добавляет, что красинское „да" означало тогда „превращение субъективного явления в общественный социальный факт".

Автор договаривает неизданную страницу до конца: „Красин своим отношением к сменовеховству помог нанести наиболее, быть может, сокрушительный удар эмиграции и ее политической активности; с 1921 г. роль и значение эмиграции как реальной конструктивной

силы неуклонно падает, и, таким образом, Л. Б. Красин помог народившемуся движению выполнить его историческую роль".

Дальнейшее известно, и потому — „совершенно не важно, если позднее — изжив себя — сменовеховство стало... анахронизмом, выродилось — с одной стороны — *в устряловско-лежневский* (выделено нами. — *В. Л.)* неоиационализм, сдобренный сугубым славянофильством" и т.д. — ведь „что было нужно и значительно в 1921 году, то смешно и наивно в 1926".

Неизвестная глава держалась в строжайшем секрете».

Еще раз следует отметить, что Булгаков, не зная всей подоплеки сменовеховства, постоянно давал этому «движению» правильную, резко отрицательную оценку.

24

...я сочинил нечто, листа на четыре... — Речь идет о «Записках на манжетах».

25

...к *отчаянному Фаусту пришел дьявол, ко мне же не придет никто.* — Видимо, Булгаков в отчаянное для него время уже основательно продумывал новую для себя творческую схему: «Художник и власть». В романе о дьяволе эта тема звучала уже в полную силу.

26

В течение месяцев двух я не встретил ни одной живой души, которая бы читала мой роман. — В дневнике писателя имеются очень важные свидетельства на эту тему. 26 декабря 1924 г.: «Роман мне кажется то слабым, то очень сильным. Разобраться в своих ощущениях я уже больше не могу». 3 января 1925 г.: «...боюсь, как бы „Белая гвардия" не потерпела фиаско. Уже сегодня вечером, на „Зеленой лампе", Ауслендер сказал, что „в чтении...", и поморщился. А мне нравится, черт его знает почему». 5 января: «...у меня такое впечатление, что несколько лиц, читавших „Белую гвардию" в „России", разговаривают со мной иначе, как бы с некоторым боязливым, косоватым почтением. Митин (речь идет о писателе Д. М. Стонове. — *В. Л.)* отзыв об отрывке „Белой гвардии" меня поразил, его можно назвать восторженным, но еще до его отзыва окрепло у меня что-то в душе. Это состояние уже три дня. Ужасно будет жаль, если я заблуждаюсь и „Белая гвардия" не сильная вещь».

27

«Пречистенка» — это круг русской интеллигенции, жившей на Пречистенке и в прилегающих к ней улицах и переулках, сохранивший традиции дореволюционной жизни; круг постепенно сокращался в связи с арестами членов этого сообщества; ближайшие друзья Булгакова (Н. Н. Лямин, С. С. Топленинов, П. С. Попов и др.) были из этого круга.

